



НИНА ФЁДОРОВА

ЖИЗНЬ

А ЗЕМЛЯ ПРЕБЫВАЕТ ВОВЕКИ



Нина Федорова

Жизнь. Книга 3. А
земля пребывает вовеки

Православное издательство "Сатись"

1964–1966

Федорова Н.

Жизнь. Книга 3. А земля пребывает вовеки / Н. Федорова —
Православное издательство "Сатись", 1964–1966

ISBN 978-5-7868-0016-7

Фёдорова Нина (Антонина Ивановна Подгорина) родилась в 1895 году в г. Лохвица Полтавской губернии. Детство её прошло в Верхнеудинске, в Забайкалье. Окончила историко-филологическое отделение Бестужевских женских курсов в Петербурге. После революции покинула Россию и уехала в Харбин. В 1923 году вышла замуж за историка и культуролога В. Рязановского. Её сыновья, Николай и Александр тоже стали историками. В 1936 году семья переехала в Тяньцзинь, в 1938 году – в США. Наибольшую известность приобрёл роман Н. Фёдоровой «Семья», вышедший в 1940 году на английском языке. В авторском переводе на русский язык роман были издан в 1952 году нью-йоркским издательством им. Чехова. Роман, посвящённый истории жизни русских эмигрантов в Тяньцзине, проблеме отцов и детей, был хорошо принят критикой русской эмиграции. В 1958 году во Франкфурте-на-Майне вышло его продолжение – «Дети». В 1964–1966 годах в Вашингтоне вышла первая часть её трилогии «Жизнь». В 1964 году в Сан-Паулу была издана книга «Театр для детей». Почти до конца жизни писала романы и преподавала в университете штата Орегон. Умерла в Окленде в 1985 году. Вашему вниманию предлагается третья книга трилогии Нины Фёдоровой «Жизнь».

ISBN 978-5-7868-0016-7

© Федорова Н., 1964–1966

© Православное издательство
"Сатись", 1964–1966

Содержание

Глава I	7
Глава II	11
Глава III	15
Глава IV	27
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Нина Фёдорова
Жизнь. Книга 3. А земля пребывает вовеки

© Н. Федорова, текст, 1966

© Издательство «Сатисъ», 2019

Глава I

Наконец она пришла – революция.

Но всё в ней было не так, как ожидала Мила, как описывались революции в её школьных учебниках, как предполагалось по страшным слухам в «Усладе». Она ожидала, что революция придёт издалека. Её принесут с собою чужие, незнакомые люди. О её приближении известит набат, крики, далёкие выстрелы, похоронный звон соборного колокола. В бинокль она увидит страшное революционное войско. С песнями, с победными криками, размахивая флагами и ружьями, оно ринется в город, растекаясь по улицам. На концах пик поднимутся окровавленные знамёна бунта. Но город будет защищаться – на улицах, из-за углов, у входа в каждый дом. Защитники будут падать и умирать тут же, у порогов своих жилищ, а женщины, выбегая из домов с кувшинами воды, станут утолять жажду последних сражающихся и с воплем уносить трупы родственников. Как фейерверки, вспыхнут пожары. Пули станут ударяться о стены «Услады». Глухие пушечные раскаты закончат сражение.

Она видела баррикады у дверей «Услады» и себя, с охотничьим ружьём в руках, прячущейся за колоннами, на балконе, готовой защищать жизнь матери и тёти. Затем Головины бегут из города.

Она видела себя в опасности, преследуемой, под свист пуль скачущей галопом на лошади – за холмы, к броду через реку. И вот они где-то в горах, среди таких же бездомных женщин, тёмною ночью, у костра. Вот они прячутся в лодке, в зарослях тростника, в камышах, где-то у степной безымянной маленькой речки. Вот она лежит на земле, прислушиваясь к отдалённому лошадиному топоту – друзья? враги? – а ветер качает над ней тростники, и сухие их стебли звенят, как музыка тёти. Речные птицы взлетают, пугая её шумом крыльев. Но вот, наконец, узкая щель в высокой кавказской скале – их последний дом и убежище. По утрам она взбирается на голую вершину и, прикрыв глаза от солнца рукою, смотрит в ту сторону, где была «Услава». Никого! Пустыня! «Горе побеждённым!» Но когда исполнится чаша испытаний, она увидит двух всадников вдаль: её братья! Борис и Димитрий. Они кричат ей: «Выходите! Вы свободны!»

Между тем революция пришла в город не как война, а как грандиозный праздник. Этот город получил революцию уже готовой, по телеграфу... В этот город она пришла бескровной и встречена была почти всеобщим ликованием.

Дни и ночи гремели духовые оркестры, сопровождая делегации на собрания. С музыкой шли парадные шествия, с песнями шли гимназисты и рабочие союзы. Парами выводили учащихся из школ на площади: «Дети, смотрите и запоминайте! Вы свидетели великих дней». Все приглашались на праздник Свободы. «Забудем прошлое и прежние обиды! Мы начинаем жизнь сначала. Наступает эра всеобщего счастья. Такой день случается раз в тысячелетие! Радуйтесь! Все радуйтесь!»

Многие действительно ликовали и радовались – от всего сердца: они получили, чего добивались. Другие радовались лишь потому, что давно уже не радовались ничему. Сердце просило отдыха. За последние годы они не знали ничего, кроме потерь, панихид, нужды, горя и страха. Молодёжь, всегда жадная до перемен, радостно шагала за знамёнами.

Причины радости были многочисленны и разнообразны. Дети в школах кричали: «Ура! Сегодня не будет уроков!» Выпускные классы кричали: «Ура! Больше не будет экзаменов!» Отстававшие по успехам ученики не верили своим ушам: «В честь революции нынешнюю весною все будут переведены в следующий класс!» – «Ура! Да здравствует эта волшебная революция!» И из школьных дверей, как кипящая лава, выливались толпы ликующих детей.

Служащие радовались отдыху, перерыву в работе. Бедняки жадно внимали слухам о разделе земель и имущества, униженные – полному уравниванию всех чинов и классов. Семьи ожи-

дали возвращения любимых с фронта: «Поймут же и немцы и бросят оружие!» Казалось, не было границ грядущим блаженствам.

Такие, как Головины, были в незначительном меньшинстве. Они оставались дома, никуда не выходили, к процессиям не присоединялись и молчали.

Прошла одна неделя, другая, началась третья – город всё ещё торжествовал.

Процессии двигались по всем направлениям. Впереди несли знамёна союзов, плакаты с лозунгами. Разинув рты, останавливались прохожие, удивляясь тому, что обещала своими знамёнами революция: мировое счастье! Этого до сих пор ещё не было в мире, но вот оно идёт! Оно готово! Оно идёт по улицам, радуясь, обещая, награждая, благословляя. Оно идёт из России ко всему человечеству. Братья, кто бы вы ни были: белые, красные, жёлтые, чёрные! – сюда! к этим знамёнам! Обнимемся! Забудем войны – нужны вам они? Забудем все обиды! Вот в революции рождается и из неё восстаёт н о в ы й ч е л о в е к – справедливый, сильный, радостный, честный! Он прошлое оставил позади!

На площадях воздвигнуты были платформы для ораторов: ни одно здание не вмещало желающих слушать. Центром города сделалась большая площадь перед собором. Объявлено было: каждый мог бросить работать, если он желал пойти на митинг. «Труженик! Ты свободен! Мы освободили тебя от рабства! Статистика высчитала для тебя: ты будешь работать отныне не более пяти часов в день, пять дней в неделю – и за это ты будешь иметь всё, что надо тебе и твоей семье для здоровой и радостной жизни!»

Но всё это было днём. Днём всё это, правда, походило на праздник. Ночью молодёжь зажигала костры, ломая для топлива заборы, срывая закрытые ставни с окон (кого вы боитесь? зачем запираете двери и окна? вы прячете что-нибудь?) и деревянные ступени с крыльца (не жалейте! мы вам построим дворцы!). У костров всю ночь стоял шум: пелись песни, произносились речи и начинались пламенные споры о различных деталях мирового счастья. Кое-где начали раздаваться одинокие выстрелы. Уже не все, ушедшие вечером, утром возвращались домой. Но снова с утра шли процессии и произносились речи. Приостанавливалось уличное движение. На заборах, крышах, на деревьях бульваров висели любопытные городские мальчишки, весёлыми криками приветствуя процессии. Под ногами путались, жалобно скуля, домашние собаки, потерявшие своих хозяев. Извозчики скакали прочь, спасаясь от бесплатных пассажиров.

Бросив кухню и кипящий в кастрюле суп, кухарки, вытирая руки о фартук, бежали вслед за толпой. Приказчики выбегали из магазинов, забывая закрыть за собою двери. Никто не отвечал с телефонной станции на звонки. Железнодорожные служащие (мы – тоже люди!) бросали поезда на путях станции и все с песнями уходили из депо на митинг: свобода для всех! Не довольно ли угнетений? Довольно! Довольно! И рабочий уходил от станка (и я человек!). Углекоп оставлял копи. Сплюнув в сторону, уходил и надзиратель копей, он уходил, чтоб больше не возвращаться. Конторщик бросил в сторону книги, не понимая больше, что записать в графу заработной платы. Давно-давно скрылся куда-то управляющий, и никто не знал, где хозяин.

В те первые дни в городе ещё никто никого не преследовал. Не для всех ли свобода? Те одинокие выстрелы были лишь сигналом умножающихся грабежей.

Всё это было психозом детской, нерассуждающей радости. Взлёт в нереальность после тяжких лет войны и лишений. Человек надорвался и сказал: а ну-ка, бросим всё на ветер! Терпению моему конец. Давайте всё переменим: пусть каждый живёт свободно и радостно, где хочет, как хочет; пусть он верит, во что ему угодно, пусть делает, что ему по душе. Прошлое? Что в нём? Что о нём думать? Уроки истории? Но к чему эти уроки и какие они, если не сумели дать людям счастья? Пала империя! После этого на земле не могло быть невозможного. Т а к а я империя рухнула! Значит, нет ничего не осуществимого волей человека. Надейтесь! О, Свобода! Мы ждали, мы мечтали, мы думали о тебе, добиваясь столетиями! Ты пришла. День прихода твоего благословляет всё человечество.

Но была война. Ничего. Мы скажем им: не все ли люди братья? Зачем эти пушки? Вы не держите же их против ваших братьев в вашем доме. Бросьте оружие, как мы его бросаем. Поделится мирно и поровну всем, что имеем. С песнею, дружно начнём строить новую жизнь на земле. И станет незачем человеку быть злым, незачем совершать преступления. Не надо нам больше тюрем, цепей, полиции. Никто больше никому не враг: у всех всего поровну. Главное – не надо крови. Эта наша великая бескровная революция основана не на силе – на вере в человека. Такой ещё не было в мире. Держите её великой! Держите её бескровной! чистой! святой! вечной! Человек, человечество! Мы обращаемся к тебе с протянутой рукою и с открытым сердцем: вот твоя дорога к счастью! Иди!

Ораторы были все новые, дотоле неизвестные в городе люди. Те, кого знал город, кто правил, кто был у власти, словно растаяли и испарились, и чем выше прежде стоял человек, тем меньше теперь имел он значения. Если он открывал рот, взывая перейти от утопии к реальности, его обрывали: замолчите! Довольно! Странники тюрем и казней, ваше время прошло. Вы не сумели дать людям счастья! Стыдитесь!

К удивлению многих, Полина Смирнова шла во главе первой процессии трудящихся женщин. Это она вышила золотую тесьмою на красном знамени: «Женщина, вперёд к твоему светлему будущему!» и лично, своими руками, на высоком древке несла это знамя. Тех, кто знал её прежде, наружность Полины поражала не менее самой революции. Она остригла коротко волосы. На ней была красная блуза из того же материала, что и знамя. Блуза была небрежно расстёгнута на груди. Короткая юбка едва доходила до колен. Этот наряд, никого не удививший бы на другой трудящейся женщине, на Полине поражал глаз: он подтверждал факт – да, она произошла, революция! Туалет Полины уже не оставлял сомнений: революция произошла в России и для всех, и для всего. Ноги Полины в коротких красных носках были уже из того послереволюционного мира. Без революции их бы никто никогда не увидел.

Её видели прежде только в чёрном, только в длинном, в наглухо застёгнутом и всегда шепчущей, смиренной, коленопреклонённой пред обществом и строем – она казалась теперь символом дерзаний и смелости, она выглядела так, словно шла голой. Она потрясала знаменем. Она громко пела. Это была Полина? Она шагала, как солдат, ругалась, как извозчик, и пела, как птица.

Были и другие, не менее разительные перемены.

Златовласый дьякон Анатолий вышел из духовного звания. Он шагал впереди процессий в гражданском платье. Галстук его, в виде огромной шёлковой бабочки, развевался по ветру. Несколькими ударами ножниц парикмахер Оливко отделил от его черепа золотистую гриву и устроил волну надо лбом. Дьякон стал ещё красивей. Свободный от сана, от долгих церковных служб, Анатолий Парамонович был самым дорогим гостем и запевалой в любой революционной группе.

Свобода, свобода, о как ты прекрасна! Никогда ещё голос дьякона не звучал так сладко. Он запевал революционные песни – и вмиг опьянены были сердца слушателей. «Я оставил священные песни церкви, чтобы петь вам более священные песни свободы!»

Полина, со знаменем, жалась к нему, старалась держаться поближе. Стара? Человек никогда не стар для погони за счастьем!

Мать Анатолия отреклась от сына всенародно. В церковном дворе, стоя перед дверью собора, обратив взоры на крест над нею:

– Слушайте, христиане! – восклицала она, обращаясь к выходившим из храма. – Слушайте несчастную мать, христиане! Перед Богом и перед людьми я отрекаюсь от сына моего – расстриги и супостата Анатолия и у Бога до конца дней моих буду слёзно и коленопреклонённо молить о прощении, что родила его на свет Божий. Простите меня и вы, христиане! Матери, слушайте меня: когда Господь посылает смерть младенцу вашему, не ропщите. Не вымаливайте ему жизни. Пусть Господь возьмёт дитя ваше к Себе, пока оно ещё безгрешно

и чисто душой! – И обратив лицо на восток, потом на запад, север и юг, она повторила своё отречение, обливаясь горькими слезами.

Жена дьякона, тёмная лицом, топталась около и плакала. Её горе было безмерно: уже неделя как Анатолия не видели дома. Где он жил? С кем? Его подрыски грустно висели в гардеробе.

Люди в смущении и молчании наблюдали сцену отречения. Те, кто были матери, плакали.

Епископ вышел из собора и обратился к матери Анатолия:

– Женщина, успокойся и перестань. Оставь всё на суд Божий. А сама помолись и прости!

И обращаясь к печальной, удручённой группе прихожан, стоявших во дворе, он сказал:

– Братие и сестры, пришёл час страшного Божьего гнева. Настали дни великих испытаний, а для избранных – и мученический венец. Крепитесь и не смущайтесь духом. Претерпевший до конца спасён будет.

Заходящее солнце последним лучом своим коснулось стены, двери и затем скользнуло по лицу епископа, словно наложив печать на его слова. И он, как бы поняв нечто тайное, произнёс изменившимся голосом:

– Братья и сестры, простите друг другу, помолитесь и о врагах ваших, как в последний час, на смертной постели. Час гонения близок. – Осенив всех крестным знаменем и затем склонившись перед ними, он добавил: «Простите и меня!» – и ушёл в храм.

И тут же погас свет заката, как будто закрылась и небесная дверь. Наступала темнота ночи.

– Не могу переносить вида этого, российской нашей революции, – бормотал темноволосый дьякон Савелий. – Страшно мне! И от владыки – что? Смертоносные они глаголы! Камо пойду?.. Камо бегу?..

Дьякон ушёл и три дня пил без просыпа.

Глава II

Революция углублялась.

Главным занятием жителей сделалось посещение митингов, они же шли и днём, и ночью.

Лейтмотивом было вначале священное слово «братство». Славянское сердце ценило его выше свободы и глубже равенства. Братство предполагалось положить в основу нового государственного и общественного строительства. Не будет войны. Не будет ненависти. Человек будет счастлив, добр и спокоен.

Но как? как они это сделают? – втихомолку размышляли редкие, не поддавшиеся опьянению умы. До сих пор это не удалось ни одной из государственных систем, ни одной из религий.

Как?

Массы не знали, конечно. Представители разных политических партий, казалось, знали; по крайней мере, каждый из них готов был взять это на себя и перестроить мир сам, в единственном числе. Но между собой они не могли сговориться. На каждую речь выступал оппонент. Всякий план казался нелепым, более того, гибельным представителю другой партии. Не искушённый политикой слушатель поражался: столько в мире было верных путей ко всеобщему счастью, а человечество между тем так долго страдало – не странно ли?

Время шло. Споры становились горячее, разделения между партиями – глубже. Никто ни с кем не соглашался, и никто никому не уступал. Списки ораторов становились всё длиннее, речи решили сокращать до десяти минут, и оратор, с негодованием покидая платформу, кричал, что тема его не исчерпана: «Я предлагаю план переустройства мира, а вы мне на это отсчитываете десять минут!»

Наиболее пламенные ораторы делались кумирами толпы. Их образ слушатель помещал в своё сердце, в том опустошённом углу его, где находились прежние, теперь разбитые революцией идола.

Начиналась организация союзов. Вырабатывались платформы и программы, намечались кандидаты в Учредительное собрание. А для города выбирались – временно, на «покамест» – должностные лица.

Парикмахер Оливко замещал куда-то исчезнувшего городского голову. Полина Смирнова была избрана председателем Союза союзов трудящихся женщин. Докторша Хиля была послана как делегат от города в столицу за директивами и новостями. Учитель классических языков и чистописания был единогласно избран председателем всех художественно-культурных организаций города и хранителем его сокровищ. Гимназистам восьмого класса было поручено рассмотрение школьных программ, с правом исключать всё, что им покажется ненужным, помня, что «дети – цветы земли» и прежде всего их надо беречь.

Истинное человеческое достоинство связано со скромностью, поэтому достойные люди неизменно оставались в тени: они не кричали, не пользовались едким словом, чтобы унижить оппонента, для них у толпы не было аплодисментов.

Парикмахер Оливко вдруг сделался одним из кумиров города, возможно, лишь потому, что, не имея семьи и забросив работу, он всегда был под рукою. Он охотно принял две-три должности, чувствуя себя вполне компетентным для решения проблем во всех областях жизни города. Он обещал в скором времени понизить цены, обеспечить регулярный подвоз продуктов из деревень, нажать на военных в действующей армии, чтоб не медлили с установлением братских отношений на фронте и занялись перевозом солдат по домам. На двери своего делового кабинета в здании бывшей Городской думы он вывесил собственноручно написанное объявление: «Товарищ Евгений Прокофьевич Оливко. Управляющий по делам города. К услугам всех граждан и гражданок города. Вход без доклада».

Он радостно приветствовал каждого посетителя, простирая к нему руки, выслушивал и, как только схватывал смысл просьбы, прерывал говорившего, обещая исполнить: «Запишем, товарищ, и будет исполнено». Потрясая руку посетителя на прощанье, он добавлял радостно: «Ждите, товарищ, и не сомневайтесь. При первой же возможности...» И тут же забывал и о просьбе, и о своём обещании и с тем же энтузиазмом встречал и выслушивал следующего просителя.

– Сделаем, товарищ! Даю вам моё торжественное революционное слово! Смело рассчитывайте!

Гражданин уходил, совершенно им очарованный. Ничего подобного и не снилось никому при прежнем городском голове. Никакой волокиты. Видно было, что парикмахер Оливко действительно не имел ничего против всеобщего человеческого равенства и счастья.

Между тем всё течение жизни в городе изменялось. Не столько пугала дневная жизнь, как ночная. Днём ещё ходили по городу шествия, колыхались знамёна и звучали речи и песни, но возбуждение, видимо, гасло. Оно совершенно остывало для граждан с наступлением ночи. Преступление подымалось вместе с тьмой, оно росло, смелело, захватывало город в свои жестокие тиски. Защиты от него не было.

Полиция была распущена. На улицах не горели фонари. На крики не отзывался никто.

Начиналась и всё углублялась экономическая разруха.

– Сегодня почему-то нет электричества. – Вы не знаете, продают ли где керосин? Вы не слышали, почему не работает телефон? – Поезда больше не ходят по расписанию. – Текут трубы? Мне сказали: почините сами. Как? Как знаете. У нас нет для вас рабочих. – Да, это контора по доставке угля. Но угля нет. Нет, я не служащий, я здесь живу, я – секретарь театральной секции революционного театра молодёжи. Я занят. Прошу меня не беспокоить. – Но пекарни все закрыты. Понимаете – в с. е. Пекари бастуют, и затем, в городе совершенно нет муки. – Странно, почему нет подвоза продуктов из деревни? Разве нельзя им объяснить? Наконец, заставить их везти. – В больнице нет мест. Лекарства? Но лекарств нет, они вдруг куда-то исчезли. – Обувь? Этот магазин был ограблен. Представьте, приехали подводы и среди бела дня увезли всю обувь. – Да, они сказали – для революционных надобностей. Хозяин? Его никто не видел. – Ресторан? Он реквизирован комитетом по подготовке к голосованию в Учредительное собрание.

И в доме у себя гражданин не видал прежней жизни.

– Ужин? Сегодня нет ужина. – Кухарка? Она ушла куда-то. Её нет со вчерашнего дня. – Перекусить? Но пищи нет на базаре. Её негде достать.

– Что это – пожар? – Но это где-то совсем близко! Почему же не слышно пожарной команды? Выхала в соседний город на митинг? – Но кто-то же должен тушить!

– Бочки? Пожарные уехали на бочках, ведь поезда не ходят. – Но мы все сгорим! – Нет, ветер в противоположную сторону.

– Ах, эти одинокие выстрелы во тьме ночей! Кто стреляет? В кого? Возможно, там убивают! – Нет, нет, не выходите, не открывайте дверей! Завтра прочитаем в газете, если завтра газета выйдет.

– Где дети? Ещё не вернулись? Но поздно, это опасно. Не надо было их отпускать. – Но это митинг, они должны были идти: там записывают на занятия в школе.

– Что это? Боже, что это? Почему так кричат в соседней квартире? Зовут на помощь? – Не ходи, не пуцу! Тебя убьют там! – Кричат: «Спасите!» – Не ходи. Слышишь: там уже замолкли.

– Наша дверь забаррикадирована снаружи! Почему? Кто это сделал? Мы не можем выйти! Что это? Кто идёт из кухни – там же не было никого! Боже, что случится с нами! Какие там люди?! О, спасите! Помогите!

Преступления накинута на город свои тёмные сети.

Полиция? Тюрьма? Суд? Каторга? Но они только что были уничтожены. Ведь они противостоят самой идее братства. Новый строй основан на вере в человека. Он основан на знании, что человек – по натуре – добр, что он любит добро и хочет его. Полиция? Тюрьма? Их нет. Их не должно быть. Им нет места в новом строе.

Горькая необходимость заставила образовать не полицию – нет – ненавистное слово! – а городскую милицию. В её состав были избраны лишь лица безупречной честности, интеллигенты, популярные в городе, дабы оказывать, главным образом, моральное воздействие на тех, кто ещё не понял, что ему даёт и чего от него ожидает новая эра.

«Нам не надо тех, кто умеет бить и заковывать в кандалы. Нам нужны те, кто понимает душу и психологию человека, кто сможет словом переродить его нравственно» – так гласила директива.

Новая милиция была безукоризненно вежлива и очень застенчива. Прежде всего она имела в виду достоинство человека и вела себя так, чтоб не оскорбить его в преступнике.

Преступники, конечно, учли характер этой милиции – неслыханные прежде ужасы происходили в городе. И для преступников также «такой день приходит раз в тысячелетие».

Затем в город нахлынули дезертиры, бежавшие с фронтов. Они были истощены и голодны. Они стремились домой, домой, туда, к себе, к семье, в деревню! Они шли, добираясь от посёлка до посёлка, от города до города, – нигде для них не было приготовлено ни места, ни пищи. Не было денег на билет, да и поезда почти не ходили. Локомотивы стояли для починки в депо, но их там не починяли: и железнодорожник тоже человек, он устал, он протестует, он ходит на митинги, вообще – довольно эксплуатации! К тому же: что локомотив, если нет угля? А угля нет.

Куда идти дезертиру-солдату? Он уже много ходил, его ноги изранены и босы. Где ночевать? Как достать пропитание? Не дают добром – возьмём силой. «Грабь награбленное!» Солдат гиб в окопах, а они тут дома прохлаждались. Заперто? Ломай замок! Нет пищевых продуктов? Рассказывай! Товарищи! Обыскивай! Зовёт на помощь? Заткни-ка ему глотку!

Глотку затыкали – угрозой, тряпкой, наконец, ударом по голове.

– Ещё сопротивляется? Успокой его – у тебя есть оружие.

Всё это без л и ч н о й злобы или ненависти: нападающий голоден – он уже не размышляет. Ему нужна пища – она где-то тут близко, но её не дают добровольно. Не дают солдату, кто годы провёл за них на фронте!

– Успокоил? Бери, товарищ, в торбы!

Убийство? Смерть? Он прожил с ними бок о бок три года. Привычное дело.

Ему бы только добраться до родимой деревни. Он хлебопашец. Ему обещано теперь земли сколько хочешь. Он торопится, чтоб захватить тот господский лужок и ту соседнюю вдовью полоску, о которых раньше не смел и мечтать.

В городе поднялись голоса: «Граждане! Это анархия! Граждане, необходимо принять экстренные меры».

Делегация от горожан отправилась к Оливко, требуя восстановления порядка.

– Обратитесь к совести населения! Пусть не будет замарана преступлениями Великая и Бескровная Русская Революция! Товарищ Оливко! На вас обращены взоры всех наших граждан.

– Понимаю! – восклицал Оливко. – Будет сделано, товарищи! В революционном порядке! – И, потрясая руку каждого из членов делегации, он уже приглашал «побеседовать» следующего просителя.

Помня обещание, Оливко надел галифе и раздобыл для себя высокие военные кавалерийского фасона сапоги, зашнурованные спереди. Эффект был изумителен: товарищ городской голова казался и ростом выше, и стройнее.

Из столицы от доктора Хили пришла директива: «Товарищи! Углубляйте революцию!»

Каждый добросовестно делал, что мог.

Всё слаще пел «Интернационал» бывший дьякон, златовласый Анатолий, и теснее жались к нему революционные гимназистки. Полина обучала рабочих женщин ею самою сочинённому «Гимну швеи».

Шей нарядные одежды
Для изнеженных госпож.
Отвергай свои надежды,
Проклинай их злую ложь!
И я с трепетом всё никла,
Трепетала, словно лань,
Но всегда шептать привыкла
Слово гордое: восстань!
Белым шёлком красный мечу,
И сама я в грозный бой
Знамя вынесу навстречу
Рати вражеской и злой!

«Гимн швеи» имел успех. Было предложено внести его в предполагаемый к изданию сборник «Певцы Революции». Отныне пением этого гимна открывали свои митинги городские швеи. Полина им читала доклады на тему о гнилости буржуазной морали. Свою речь она обильно уснащала примерами из прошлой жизни города, называя имена и фамилии. «Сама тому свидетель», она подымала л и ч н у ю злобу и жажду отмщения в слушательницах.

Учитель Свинопасов подал заявление, что хотел бы сдать кому-либо другому должность представителя и хранителя культурных достижений города.

– Я теоретик, товарищи, книжник, так сказать, и практическая сторона моих обязанностей совершенно ускользает от меня.

Переглянувшись со снисходительным презрением, комитет освободил учителя, передав должность ученику восьмого класса гимназии, чей отец был рабочий, мать – крестьянка, что делало его квалифицированным для должности. Учитель же запил.

Не принявшие революцию действовали по-своему. Мать дьякона Анатолия пошла по святым местам, пешком, с холщовой сумою через плечо – «замаливать грехи». Жена его назначила себе ежедневных девять акафистов и молитву в полночь. Страдая печенью, она изнемогала от печалей и болей.

Город опускался, болел, голодал. Днём и ночью шли и организованные, и «любительские» грабежи. Убийства сделались ежедневными событиями.

– Нет, так не может больше продолжаться! – всё чаще поднимались возмущённые протесты.

– Что-то надо предпринять, что-то сделать!

– Но что?

Восстановить суд, полицию, тюрьму? Отказаться от завоеваний революции? Ни за что! Больше того: положение выправит мировая революция. Она вот-вот произойдёт! Вы слышите её приближение? Она идёт – и тогда!..

Глава III

Звуки революционных лозунгов и песен редко долетали до «Услады». Процессии были нечасты на окраине города.

Когда эхо доносило отзвуки революционных маршей, Мила наблюдала за тем, что происходило на большой дороге. Она выглядывала между колонн высокого балкона или из-за опущенных тюлевых штор малой гостиной.

Генеральша проводила дни в молитве, запершись у себя, отказываясь от пищи: она знала, что оба сына её – офицеры – подвергаются смертельной опасности. Тётя Анна Валериановна с самого начала взяла немногословный, но высокомерный, презрительный тон ко всему, что касалось революции.

Когда в «Усладе» были получены бланки для голосования в Учредительное собрание, она за утренним кофе прочла вслух имена кандидатов и заключила:

– Если предлагается выбирать между парикмахером Оливко и портнихой Смирновой, я предпочитаю молчать. Отдайте списки прислуге: на кухне нужна бумага.

– Но разве нет кандидатов от консервативных партий? Например, от кадетов?

– Здесь предлагается какой-то лавочник – Фома Камков, якобы представитель прежнего строя. Но кто он? Мы, живя всю жизнь здесь, никогда не слышали о нём. Мошенник какой-нибудь.

– Странно, тётя! Но где все те, кого мы знали?

– Убиты на войне, я полагаю.

– Но не все же убиты.

– Остальные, как и мы, остаются в стороне, потому что не верят, будто революция осчастливит Россию.

Мы уже видим плоды – и голод, и холод, и бесправие, и беспорядок.

– Но попробовать этому помочь...

– Сейчас невозможно. Революция перекипит, конечно, но сейчас это кипение стихийно, его уже не остановить. Так вот, среди кандидатов нет ни одного человека, в ком я была бы уверена, что он не украдёт кошелек, если я забуду его здесь, на столе. Как же я могу голосовать, чтобы этих людей допустили до государственной казны!

Её слова заключили дело: никто из Головиных не голосовал.

Но жизнь осложнялась всё больше. Было уже совершенно ясно, что даже и Головины не могут дольше держаться в стороне от событий, ни во что не вмешиваясь, только молясь и надеясь, что всё как-то устроится и уляжется само собою.

Желанная или нет, революция подбиралась к «Усладе». Над усадьбой постепенно собирались тёмные тучи.

Эти три женщины – Головины – были, конечно, совершенно одиноки теперь и беззащитны. Редко кто заходил к ним, чтоб спросить о здоровье и побеседовать. Их прежних друзей в городе почти не осталось. Исчезли все радости и приятности жизни, подымались и всё возрастали заботы. Всё труднее делалось доставать пищевые продукты. Ездить за ними надо было в деревню, их же единственная теперь лошадь превращалась в старую клячу, которая тосковала одиноко в великолепных пустых конюшнях. Дамы Головины обсуждали такие практические вопросы: не купить ли корову, не завести ли кур. Кухарка Мавра Кондратьевна стала центральной фигурой в таких обсуждениях, и её советы внимательно слушали. По всем поручениям посылался кучер или горничная Глаша: сами Головины больше не выходили из «Услады». Кухарка тоже не выходила, даже и за калитку, желая держаться «подальше от греха».

Всё темнее делалась жизнь, всё страшнее слухи.

– Солдаты убили капельмейстера... помните, того самого, что бывал у нас с оркестром на праздниках, – захлёбываясь, докладывала Глаша, вернувшись из города.

– Убили? За что?

– Да ни за что! – удивлялась Глаша. – Теперь же революция!

Люди вдруг исчезали, неизвестно почему, неизвестно куда, и оставшимся было не до того, чтоб спрашивать о них или их разыскивать. Ночью, слыша выстрелы, обыватель говорил:

– Слышите? Убивают кого-то.

Три одинокие женщины и трое слуг, из которых один только был мужчина, – вот и всё население «Услады». Страшно было оставаться в ней, не менее страшно было её покинуть.

Теперь и у Милы были обязанности по хозяйству.

Получив прекрасное, по понятиям Головиных, образование, Мила с практической стороны жизни – увы! – не знала ничего. Родители и школа старательно ограждали и оберегали её от соприкосновения с нею.

Всё, что Мила знала о пище, было: в известные часы прислуга приносила её в столовую.

Теперь ей открылась голая истина: вопрос о жизни был прежде всего вопросом о пище. Нужно было иметь её, чтоб есть, и сегодня, и завтра, и послезавтра, всю жизнь, от часа рождения до часа смерти. Эту пищу надо было где-то добыть, как-то ею себя обеспечить.

– Если в городе всё это достать трудно, может быть, перейти на систему натурального хозяйства: огород, фруктовый сад, корова, куры. Это даст нам мясо, яйца, молоко, сметану, масло, салаты и десерт.

Но тут возникали новые трудности. Куры, прежде чем нести яйца, должны были сами покушать, то же самое с коровой, её молоком и маслом. Следовательно, надо будет ездить в деревню в поисках корма. Но, прежде чем ехать, кучер должен был позавтракать и хорошо накормить лошадь. Кухарка, приготовив ему пищу, должна была поесть сама и ещё накормить Глашу – всё это чтоб раздобыть пищу для трёх дам Головиных. Мила терялась в расчётах. Это был заколдованный круг: надо было и м е т ь пищу, прежде чем возможно было добыть её.

Открывшаяся Миле истина, что жизнь поддерживается исключительно благодаря регулярному приёму пищи, оказывалась верной и в отношении собаки, кошки и попугая.

Решено было расстаться прежде всего с попугаем. Вместе со своей золочёной клеткой он был отдан одинокой вдове, тоже генеральше, которая взяла его с радостью, с нежной заботой, чтоб не быть совсем одинокой на закате дней. Павлин Данте, имевший отдельное помещение – маленький изящный домик на границе сада в парке, начал терять свои перья и затем тихо скончался, без упрёков, без жалоб. Его простенькая, серенькая курочка, потрясённая внезапным одиночеством, тоской, недостатком пищи, плохим уходом, безропотно последовала за ним. Уже давно съедены были утки, гуси и куры. За годы войны Головины ничего не добавляли к хозяйству, наоборот, стремились сократить его. Огород больше не возделывался. Фруктовые деревья давно не имели ухода. Садовники были взяты в солдаты. Старые слуги, прежде жившие в помещении для престарелых, отчасти поумирали, а оставшиеся в живых были отданы в городскую богадельню.

В «Усладе» жило всего шесть человек, но и для этих шестерых вопрос о пище становился тяжкой задачей.

Не то что у Головиных не было денег или вещей для обмена: деревенские жители неохотно расставались с провизией. Деревенский житель уже предвидел наступление всероссийского голода.

Жизнь угасала в «Усладе». Не вносили в неё оживления и редкие визитёры, старые друзья. Женщины в глубоком трауре приходили, чтоб «вспомнить и поплакать вместе». Это были вдовы военных, жёны убитых мужей, матери без вести пропавших сыновей, они видели пророческие сны, гадали и по Евангелию, и на картах, лихорадочно ожидали, что вот-вот восстановится почтовое сообщение и придут наконец хорошие вести. Приходили и иные, уже смири-

шиеся с судьбою, взявшие крест и покорно его несшие, молчаливые, спокойные, не здешним, а каким-то уже загробным покоем.

Мужчины, преимущественно старые военные, прежние друзья покойного генерала, приходили, чтобы вспомнить былое и поговорить о будущем. Среди них были и оптимисты: они не верили, чтобы революция могла долго ещё продолжаться. Они вынимали из карманов записные книжки, где ими были высчитаны и вычерчены диаграммы и кривые прошлых революций Европы. Они назначали сроки, когда кончится... Терпение! Терпение! По их словам, революция всегда явление временное. Затем восстанавливается порядок. Жизнь входит в нормальное русло. И возвращается прошлое.

В «Усладе» было два центра разговоров: кухня и малая гостиная.

Революция надолго? – вопрошали в гостиной. – Оливко – управляющий губернией? Это смешно! Это нелепо! Целый город не может совершить над собой самоубийства. Я допускаю: революция – свершившийся факт. Но почему? Роль сыграла неудачная война. Но война – явление случайное, проходящее. Она пройдёт – пройдут и её следствия. У революции нет г л у б и н ы, поймите это. Заметьте: она развивается, но исключительно на поверхности – как накипь на супе, – она бурлит, но в вопросах чисто материальных. Но – внимание! – изменился ли дух народа? Изменился ли сам человек? Нисколько! Он фундаментально тот же. Он бунтует? Он у ж е побунтовал – и вернётся к прежней, привычной и обжитой рутине. Он возжаждет покоя и порядка! Он возопиет о нём!

– Коммунизм в России! Вы видите это? Вы можете это вообразить: коммунизм и мы! коммунизм и наша старая няня! коммунизм и мой сапожник! – восклицал другой «знаток жизни и человека» и тут же заливался старческим смехом, переходившим в старческий кашель. – Ха-ха! Кхи-кхих! Сказки! Мираж! Химеры! Коммунизм – иностранное слово. Русский мужик не успеет ещё научиться его произносить, как он пройдёт. А Россия – это прежде всего многомиллионный мужик. Безумец, кто не видит этого. Был Пётр, издавал запреты – а мужик и по сей день носит армяк и расчёсывает бороду.

– Согласен с вами, – перебивал первый старичок. – И добавлю от себя: русский мужик скрытен. Фактически: кого он любит? Бога? Царя? Революцию? Комиссара? Нет: он любит землю. Он из «неё взят», он тайно молится ей одной. Дайте ему землю – и на тысячелетие в России воцарится покой.

– Да, но у вас нет с о б с т в е н н о й земли, – возражала помещица, – и вы согласны, конечно, её раздавать. Но мы, но я, помещица, – мы т о ж е любим нашу землю...

– Постойте, постойте... – перебивал мрачный господин, бывший судебный следователь, – главное – ожидать спокойно. Когда этот многомиллионный пахарь поймёт, что пашет не свою землю и не для себя, что государство – хозяин, а он – опять крепостной, – вот это и будет момент!.. Наша задача – дожить...

– Но когда? – восклицали нетерпеливые. – Кто скажет, кто обнадёжит: когда?

– Я скажу! Я обнадёжу!

И из тёмного угла подымалась огромная тучная дама. До революции она была просто дамой, любившей сплетничать, играть на мандолине и есть блины. После революции она вдруг стала ясновидящей.

Из огромной атласной чёрной сумки она вынимала замасленную Библию в чёрном переплёте.

– Вонми, небо, и возглаголю! – произносила она в виде вступления. – Внимайте: Пророк Даниил.

«...И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге...»

«...А ты, Даниил, сокрой словасии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают её, и умножится ведение». Теперь г л а в н о е! Внемлите, господа!

«...Со времени прекращения е ж е д н е в н о й ж е р т в ы (понимать надо – раскол революционных властей с церковью)... пройдёт т ы с я ч а д в е с т и д е в я н о с т о д н е й. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трёхсот тридцати пяти дней». – И закрыв Библию, дама возглашала торжественно: – Теперь вы з н а е т е, к о г д а!

– Поразительно! – раздался голоса. – Даже имя: великий князь Михаил Романов – записано в книгах. Очевидно, пророк имел в виду сословные книги, дворянские... Мы – наиболее гонимое сословие...

Вынимались записные книжки и карандаши, начиналось вычисление дней и спор, от какого же события начинать счёт дней.

Когда разговор принимал подобные обороты, тётя Анна Валериановна под каким-нибудь предлогом отсылала Милу из гостиной, а потом ей говорила:

– Что бы ни случилось в твоей жизни, Мила, держись реализма, трезвого разума – и помни: самые непоправимые ошибки совершает человек, когда руководится воображением. Помни это.

В гостиной всегда находились и пессимисты.

– Всё это отлично, но как терпеть, как дожить? Система террора...

– О, дорогой мой! Полноте! Террор – это система запугивать. Но ведь в России есть и бесстрашные люди. История страны доказывает это. Как можно, каким это террором можно запугать миллионы здоровых и нормальных людей! Поверьте, тут никаких страхов не хватит!

– Возьмите и психологическую сторону. Всякое правительство ищет быть любимым, ищет быть уважаемым. Оно поймёт, что мерами террора оно не сможет достигнуть этого!

– Да и к тому же... после всех свобод и радостей революции – вдруг поднести кулак к носу народа! Дать ему террор! Это было бы признанием собственного морального банкротства. Да это был бы м и р о в о й позор! Я уверен, ни один вождь революции не пойдёт на это!

– Итак, всё, что нужно нам в настоящий момент, – это терпение. Терпение и вера, терпение и надежда. Пусть перекипит революция! Бывали революции и прежде. Перекипит и сама собою остынет.

В кухне вопрос ставился иначе.

– Землицы нам дали! Слава Те, Господи! – крестился кучер. – Сам был на митинге, где давали, сам слышал. Так и сказал тот человек: «Новый закон – земля ваша. Кто пашет, тот и владеет. Берите всяк, кому сколько требуется для хозяйства. Владайте! Слава Те, Господи! – крестился он снова. – Награди их, Господи, за милость! Здоровья им и Царства Небесного! Вот и собираюсь в деревню, и узелок мой готов. Ты же, Мавра Кондратьевна, собери-ка мне снеди. Спешить, спешить надо! Потому полагаю развести скота, и как же тут без сена, без пастбища? Да ещё там и дворик господский с колодцем, очень мне к месту, рядом совсем. Вот и водица для скота-то! Как же без воды – поить надо!

– А кто из господ там – во дворике с колодцем? – иронически спрашивала кухарка.

– Вдова – барыня. Ну ей одной зачем воды да земли столько! Одной-то.

– А как она не отдаст дворик-то?

– Как не отдаст! Сказано на митинге: «по потребностям», мне то есть. Для скота же – потребность.

– А вдову куда же?

– То дело не наше. Вдове найдётся место, полагать надо. Место найдётся. Ну, в город уедет, как она не пашет сама-то в деревне. Так и сказано было: каждый на своём труде – и да ест!

– Ну, а как придёшь ты в деревню, а лужок да и дворик с колодцем другой уже мужик взял, для скота тоже, – безжалостно терзала его сомнениями кухарка.

– Не дай Бог! Да и невозможно это. Новости не скоро доходят до нашей деревни. Новости же ныне все из города. Сейчас я узнал, завтра в дорогу. Барин Оливко и бумагу мне дал – на землю по выбору, чтоб всё по закону. Я первый в деревню приду! Первый и возьму. А там отнять у меня уж пусть кто только попробует! Моя земля – навеки. Как и сказано было во всеуслышание народное: земля тому, кто сидит на ней, сидит на ней и пашет.

– Так-так, – вздохнула кухарка, принципиально не ходившая на митинги. – Ну, а про нас что было сказано? Нам что дают?

– Вам вроде как бы так: ты – за барыню, а барыня – генеральша – вроде как бы на твоё место.

– В кухню?

– Вроде бы... А вам обедать отнюдь не на кухне, в барской столовой.

– Вот мне нравится это! – воскликнула Глаша. – Столовая у нас красивая. Мне надоело в этой кухне...

– Ты мою кухню не хай, – предостерегающе прикрикнула кухарка.

– А кто обед подавать будет? – интересовалась Глаша.

Кучер помолчал, подумал.

– Подавать будет, должно быть, барышня наша, Людмила Петровна.

– А откуда деньги на продукт? – мрачно допытывалась Мавра Кондратьевна.

– Деньги, должно, от государства, – размышлял кучер. – Сказано: нужды народные государство снабжает.

– Тут уж я не поверю! – соображала кухарка. – У государства деньги откуда? Единственно от народа. Сказки! Нигде не видано, чтоб государство деньги давало. Государство деньги собирает. И потому налоги.

– Ну, теперь другое государство. Оно – не по-старому. В том-то и вся штука: по-новому, для народа исключительно. Сказано: чуть что, обидели тебя – неси жалобу.

– Кому нести?

– На митинг неси.

– Ну и делов же у вас будет на митинге! – саркастически пророчествовала кухарка и решительно добавила: – А барыню на кухню не допущу. И есть сама не хочу в столовой, тут моё место. Двадцать лет я тут, на кухне, и обиды ни от кого не видела. Да и где барыне приготовить обед! Десять лет я околачивалась девчонкой на кухне, пока допущена была до плиты. А тут барыня вошла – хлоп! – и готов обед! – Ревность специалиста-профессионала звучала в её голосе. – Только перепортит всё!

– А ты сядь рядом да и поучи! – советовал кучер. – Вот переменится жизнь! – продолжал он со вздохом, выразившим и довольство, и как бы тень сожаления о прошлом. – Генеральша – на кухню, барышня господская – на побегушках, за горничную.

– Нет, не быть по-ихнему! – гневно перебила кухарка. – Не допущу я барыню на кухню...

– Сказали тоже – день восьмичасовой, – размышляла Глаша. – От восьми, значит, до восьми – где ж тут рабочий день короче?

– Не тебе работать – барышне, – объяснял кучер, – пусть побегают. Не сокрушайся.

Вдруг возмущилась кухарка:

– Не то ты говорил, как барин покойный на войну уходил. Вспомни-ка свои слова тогда!

– Дура ты, баба! Молчи, – рассердился и кучер. – То тогда было, время то прошло.

– Дурой ты меня погоди называть, – подбоченилась Мавра Кондратьевна. – У м е н я в кухне сидишь: тут тебе не митинг и не революция. Пусть революция меня сделала дурой, тебя она сделала мерзавцем. – И сердито хлопнув дверью, она вышла из кухни.

– А ты, девушка, меня слушай, учись, – обратился он к Глаше. – Худо будет в городе – худо бесприменно будет! – так шагай ко мне в деревню: работу дам. Всем дам работу – по найму – на жниво. Только, девушка, не жди, не будешь у меня вертеться, как тут, туда-сюда. Работа

у нас тяжёлая, сурьёзный труд. И как сказано: по закону, от восьми до восьми. Прохлаждаться некогда. Жать, так жать; косить, так косить. Плата будет тебе сдельная.

– Так? – высокомерно окинула его взглядом с ног до головы Глаша. – Слыхали? Если революция оставляет меня прислугой, так уж лучше я буду прислуживать барыне – генеральше, а не её конюху!

– Как знаешь! Ты не обижайся. Я, что ли, делал революцию? Моя в том вина? Нас с тобой не спросили.

– Революцию сделали для трудящихся... от жалости.

– Исключительно. Для трудящихся, как вот я! Не для городских, как ты. Всё для деревенского народа, да ещё малость, пушай, для фабричного. Исключительно. Н а с т о я щ и й же народ, к т о з е м л ю п а ш е т, нам чтоб дать хорошую жизнь. Городам будет худо. Много народу погибнет. Нас это не касается. Мы землю пашем.

– А кому продукты продавать будете?

– А горожанам. В городе что? Хлеба своего нет, ни зерна, ни мяса. Какую хочешь цену проси – город купит. Должон купить. Он хоть и горожанин, и, может, образованный, но без пищи не может жить. Да ещё и то: горожанин тонкую пищу употребляет, со вкусом. А человек в городе плох: лгун, большею частью, и шут. Вот ты меня и послушай: станет худо – беги ко мне, работу дам, сыта будешь, – дипломатически заключил кучер. – Сама деревенская, знаешь: когда жатва, тут и поторопись.

– Не жди. Торопиться не стану, – гордо ответила Глаша. – Да у меня своя деревня есть, если уж жать. Смысла в тебе нет, а ещё хитришь. Я так думаю: кто поумнее, держись в городе. Мне и тут хорошо живётся. Бежать вроде и не от чего. А ты пока попаши – на краденой земле, помещик!

Революция развивалась.

Она развёртывалась, как пергаментный свиток, открывая всё новые и новые строки, и им не видно было конца. Она развивалась, затопляя всю русскую землю, и укрыться от неё, спрятаться было уже невозможно. Всё население, всё – до единого, так или иначе, уже было вплетено в её ткань, поймано в её сети.

Первое же прикосновение революции к «Усладе» насторожило Головиных. И снова опасность пришла не так и не оттуда, как её ожидали. Началась она от визита парикмахера Оливко.

Обычная рутинная революционных событий начиналась сожжением здания полиции и открытием тюрем. Этот город, собственно, сам не делавший революции, несколько путался в порядке её внедрения. Оливко, упоённый славой, позабыл о тюрьмах. Получив упрёк, спохватившись и несколько испугавшись, он догадался дать удовлетворительное объяснение. Он произнёс речь, вдохновенную импровизацию.

– Не забудем, товарищи: на нас смотрят века и весь мир! Что значит «выпустить на свободу»? Открыть дверь и сказать: идите! Не так подобает ликвидировать постыдное прошлое нашей истории. Куда пойдёт жертва старого режима, выйдя из тюрьмы? Не должны ли мы протянуть им братскую революционную руку помощи? Их надо подготовить, им надо прочесть несколько лекций. Из открытия тюрем надо сделать национальный праздник, символ. Лозунг: «Вот мы и все на свободе!»

– Между тем они фактически всё ещё сидят в тюрьме, – заметил Моисей Круглик, присутствовавший в комитете.

– Откроем тюрьмы, товарищ Моисей! Но как? Надо подготовить население. Иначе, поймите, они выйдут в новую жизнь – и на пороге никто их не встретит! Надо подготовить обстановку, надо подготовить программу. Признаюсь, товарищи, я ночей не сплю, думая об этом, – и кое-что в уме моём уже назрело.

– Послушайте, – снова возразил Круглик, – вы осложняете проблему. К чему тут приготовления? Они не маленькие, они найдутся.

Эти слова привели в негодование Полину Смирнову.

– Товарищи! Я протестую! Позорно говорить о жертвах старого режима в таком небрежном тоне. Они страдали... Мы у них в долгу...

– Успокойтесь, товарищ! Давайте проголосуем!

Большинство было против Круглика и за Оливко.

Постановили устроить торжественное открытие тюрьмы, после краткой подготовки заключённых. Собственно политические заключённые – их было немного – получили свободу в первый же день революции, и толпа носила их на руках по улицам. Затем постепенно выпускали и мелких мошенников, чтоб их не кормить. Но остались ещё тяжкие уголовные – и это о них шла речь.

Было постановлено наскоро собрать или напечатать для них памфлеты, объяснив, что заключённые стали преступниками не по своей воле, а в силу давивших их угнетений царизма. Но царизма нет больше, нет и угнетений, и в новом мире равенства и справедливости нет больше причин быть преступником. Для обсуждения и для ответов на возможные вопросы заключённых избрали «делегатов от Свободы», назначив часы их лекций. Самое устройство торжества было отдано в энергичные революционные руки товарища Оливко.

По его программе граждане приглашались собраться у ворот тюрьмы и речами и музыкой встретить освобождённых. Сам Оливко уже мысленно готовил речь: «Товарищи! Час наступил! Последние заключённые выходят из последней тюрьмы! Всё человечество смотрит сегодня на нас жадными глазами! Такого, как делаем мы, ещё не было до нас на земле!»

Назавтра он посетил тюрьму. Заключённых собрали, и он произнёс речь, начав словами:

– Друзья мои! Всё, что даёт нам революция, должно быть незабываемо прекрасным!

Но как ни старался он, слова его не вызвали и искры энтузиазма. Слушатели искоса взглядывали на него, как бы к чему-то примеряясь. Вопросов никто не задавал никаких. Речь Оливко обрывалась на полуслове. Он терялся. Потом ему стало не по себе. Всё, что он услышал, было:

– Что ж, мы подневольные...

Это были люди осмотрительные, кто отличался медленной мыслью и недоверием к реформам. Тюрьма имела для них свою положительную сторону: она являлась надёжным убежищем. Подкупив сторожа, заключённый теперь мог «отлучиться». Он уходил «по своим делам» обычно после наступления сумерек и, «управившись», спешил снова скрыться в тюрьму. Там искать его не приходило на ум. Там он был безнаказан. Его кормили. Он мог и «подкупить» вина и провизии. С ним были не революционные, а его собственные товарищи. Играли в карты. В общем, жилось недурно.

Но вот являются ораторы. Присутствие заключённых на лекции обязательно.

Ораторы были двух типов: теоретики и практики. Первые шли для развития в заключённых политического самосознания, вторые – для пробуждения в них активности в поддержке и углублении революции, для пробуждения в них жажды приложить и свои таланты и знания для всеобщего блага человечества.

Тюрьма выслушивала их, мрачно насупясь.

Кое-кто приходил на лекции в цепях, и именно эти представляли собою самую вдумчивую и осторожную аудиторию. Они задавали вопросы, и вопросы их были всегда «по существу» предмета, они часто переспрашивали оратора, прося повторить сказанное; они не любили слишком быстрой речи, поспешности вообще: они не торопились жарко пожать протянутую им революционно-дружескую руку.

– Что ж, новый режим, значит... наше дело подневольное, конечно.

Но когда вопрос пошёл об организациях для новой жизни, оказалось, что они прекрасно вникли во все возможности положения. Дело пошло быстро.

Встал некий Клим Попов. Слова его были немногочисленны, но внушительны. Он и ещё несколько ему подобных, кто был осуждён на каторгу лет на десять, пятнадцать, а то и все двадцать, презирали парламентские приёмы и говорили, когда сами находили это нужным. Как наиболее явные жертвы старого режима, они забирали выборные должности себе: «равенство равенством, да надо же знать и справедливость» – кто дольше «сидел», тот и главный.

Когда подошло дело к избранию председателя, встал Клим Попов и предложил себя. Он молча посмотрел вокруг – и тут же избран был единогласно. Честь эту он принял с достоинством, не выказав особой благодарности избирателям. Стоя, он просил всех хорошо на него посмотреть, чтоб помнили, кто председатель. Это был человек чуть повыше среднего роста, но тяжёлый, коренастый, уже склонный к полноте мужчина. Расстёгнутый ворот открывал страшную волосатую грудь кузнеца. Лицо его было красно и грубо.

– Видали? – спросил он кратко. И на тюремном жаргоне пояснил, что теперь его личность неприкосновенна. Он делает что хочет как председатель, и никто ему не указ. Правила правилами, но в человеке главное – рассуждение. Его делом будет теперь – за всех думать. «А вы, товарищи, чтоб у меня без лишних разговоров!» – и с этими словами он засучил правый рукав жестом, который говорил красноречивее слов.

Избрание остальных должностных лиц заняло немного времени. Попов называл кандидатов. Их избирали единогласно. Митинг закончился.

Тяжкая медлительность в словах и движениях Попова была обманчива: он соображал и хорошо и быстро. Он укрывался за нею: практика его преступной жизни внушала ему – осторожность прежде всего козырь на безнаказанность.

Неслышанные возможности нового революционного порядка всколыхнули его воображение. Мысль заработала быстро. Он предвидел скоропроходящий энтузиазм и недолговечность подобных «свобод для всех». Тратить золотое время на разговоры и позирование в роли жертвы он предоставил другим, «которые весом полегче», понимая, что сам лично он мало походил на страдальца от какого бы то ни было режима: его наружность не годилась для такой роли.

В качестве председателя и представителя группы он стал «вхож» к новому начальству. Прежде всего он посетил Оливко, чтоб передать нижайшее почтение и благодарность от уголовного населения тюрьмы. Быстрым взглядом окинув «власть», он понял всю легковесность парикмахера – и избрал его своей жертвой: через него начать и завершить карьеру. Ему он произнёс несколько прочувственно-благодарственных слов – и вдруг, повалившись на пол, поклонился в ноги. Оливко никогда не мог устоять против эффекта. Здесь эффект был налицо: «колени преклонённое преступление, прозрев, целовало мои ноги». В глазах парикмахера стояли слёзы... «Как быстро, однако, внедряется политическое сознание в темнейшие народные массы!»

Он просил Попова встать, они обнялись и облобызались по-братски. («Ах, жаль: поблизости нет фотографа – увековечить!»)

Попов заговорил: он наизусть помнил и теперь повторил несколько боевых фраз из тех речей, что посланные в тюрьму ораторы произносили с особым ударением.

– И такой человек – в тюрьме! – воскликнул Оливко. – Проклятие старому режиму!

Попов, незаметно для восторженного парикмахера, наблюдал эффект каждой своей фразы, «снимая мерку» с начальства. Найдя наиболее уязвимое место, он тут же стал «работать». Он сказал, что не все люди, однако, вполне пригодны для позиции власти. И вот, оглядев всех, он пришёл к выводу, что Оливко – достойнейший и нет ему равных, однако же, могут возникнуть соперники, и «тому уже есть слухи». Он же, Попов, от души желает работать исключительно с Оливко, поддерживая, помогая и защищая в случае чего – тут он потряс своим тёмным кулаком убийцы. Он уверен, что именно Оливко и есть будущий великий государь

ственный человек, и в заключение просил дать и ему какую-либо «работёшку», тут, «около», за что последует в своё время нижайшая от него благодарность.

Надо сказать, что в материальном отношении Оливко был бескорыстен: не крал и не собирався красть. Попов понял уже и учёл и это.

После взаимного обсуждения программа праздника была готова. Потрясая друг друга руки, они попрощались, и, ещё раз низко поклонившись, Попов затопал обратно в тюрьму.

Но Оливко был возбуждён и взволнован. Воображение его кипело. Прекрасное видение стояло перед его глазами.

Тут, направо (он взмахнул рукою), мрачная тюрьма. Тяжёлые, наглухо запертые ворота. Облупленные толстые стены. На них – вверху – торчат огромные ржавые гвозди. За стенами – гробовая тишина.

– Граждане! Вот символ позорного прошлого!

Тут, против ворот, воздвигнута платформа. На ней – знамёна, за ней – толпа, слева – оркестр. Первую речь произнесёт он сам, представитель новой власти товарищ Оливко. Внезапно движением руки (вот так!) он даёт знак: со страшным скрипом и лязгом распахиваются тюремные ворота (предупредить, чтоб какой-нибудь дурак не по думал смазать железные болты и петли ворот)... Так вот: знак, момент мёртвой тишины, лязг железа – и распахиваются ворота. Вдруг гром музыки, марш (всех музыкантов города согнать, чтобы было действительно громко). Победный революционный марш и пение многотысячной толпы:

Смело, товарищи, в ногу!

Из тьмы ворот парами выходят освобождённые наконец уголовники (предупредить, чтоб шли в арестантском, не вздумали бы в штатское переодеваться).

Марш замолк. Крики: «Ура! Свобода!»

И всё-таки эстетическое чувство парикмахера не успокаивалось, не удовлетворялось этой картиной. Он волновался: чего-то в ней недоставало. Нужен был какой-то финальный, лёгкий артистический штрих. Да, штрих был необходим. И вдруг он догадался: недоставало романтики, мечты, грации – короче, недоставало женщины. Но женщины особенной, не женщины вообще. Недоставало её – молодой, неопытной, смущённой, восторженной, влюблённой. Недоставало её лучистого, вдохновляющего присутствия.

Красивая девушка с букетом цветов («Товарищ Оливко, я смущена!»). Она стоит около него, на платформе. Она не сводит с него глаз («Товарищ Оливко, я плачу: к а к у ю р е ч ь в ы сказали!»). Но он занят. Он не глядит на неё, он почти не слушает её слов: на нём ответственность, на нём государственные обязанности. Букет – из красных революционных цветов – дрожит в её бледной хрупкой руке («Я хотела бы дать эти цветы вам, товарищ Оливко!»). Открыты ворота тюрьмы, но она смотрит не на выходящую оттуда процессию уголовных, она смотрит только на него, на Оливко. Он сурово показывает ей своим взглядом, к у д а надо смотреть. (О, он для начала будет с ней строгим!) Да, впрочем, где же процессия уголовных? Они выходят, они идут, они приближаются к платформе. (Фотограф!) Они остановились. Жест: он протирает руку – могильная тишина. И он скажет потрясающее приветственное слово. Барышня рядом бледна и неподвижна, как мрамор. Он кончил. Гром аплодисментов. Крики:

– Оливко! Оливко!

О, как прекрасна ты, Революция!

Но кому быть этой «женщиной»? Женщина эта должна быть девушкой, юной, как Революция. (Не дать выскочить на платформу Полине Смирновой! Вот вездесущая ведьма: спасения нет от неё. Её поместить с хором, подальше!) Девушка должна быть нежной, хрупкой, тоненькой, слегка испуганной и очень взволнованной. Из народа какая-нибудь не годится. Трудящиеся женщины хороши на своём месте. Тут нужен «аристократический ребёнок». Нужен символ – раскаяние старого режима, его пробудившаяся наконец совесть: «я отдаю в ваши руки моё дитя». («Товарищ Оливко!» – скажет девушка. Нет, она не скажет, она прошепчет

застенчиво: «Вы разбудили меня – политически! Вы дали мне новую жизнь!» Всё? Нет, она ещё прошепчет при прощании: «Могу я надеяться... видеть вас... иногда, товарищ Оливко?» Подумав, он скажет: «Очень занят, но постараюсь, урву минутку».)

Да, но кому быть ею? Пробежав в уме революционные имена и взглянув мысленно на физиономии своих бывших клиентов, он нашёл: барышня Головина. находка!

Как не поздравить себя! И красавица, и блондинка, и бледна, и аристократка. Самый подходящий символ старого режима.

Праздник «освобождения» закончится гигантским шествием по городу, с музыкой, конечно, и с песнями. Под ликующие крики толпы он сядет в автомобиль: «Товарищи! Дела, дела... должен вас покинуть... У меня нет досугов, нет праздников...»

Эхом несётся за ним: Оливко! Оливко! И чья-то мысль: «Граждане! Давайте переименуем наш город в Оливко!» И ещё: «Поставим ему памятник (сейчас же, при жизни!) на площади, против собора. Напишем: славному...» и т. д., и т. д.

Оливко помчался в «Усладу» сговориться насчёт Милы, не столько просить, сколько распорядиться: с букетом, такой-то день, такой-то час. Но они («отрыжка старого режима») заставили его ожидать в гостинной, словно и не было никакой революции. Вышла к нему Анна Валериановна, не протянув руки, просила садиться, хотя он уже сидел. Его энтузиазм при изложении проекта праздника не был ни понят, ни разделён. Зачем «арестантам» цветы (она их так и называла, хотя он называл их «заключёнными»), К чему торжество, когда неизвестно ещё, как разбойники (!) поведут себя в будущем. Что касается Людмилы Петровны (Оливко назвал её Милой), то она слаба здоровьем и лишена возможности посещать какие бы то ни было торжества, тем более праздники, дающиеся для уголовных преступников.

Оливко вспыхнул. Гордо закинув голову, он попросил её взять обратно слово «преступники».

Тётя Анна Валериановна на это спокойно возразила, что пока ещё нет для этого оснований. Видно будет по их поведению через несколько лет, а пока преступник для неё остаётся преступником, если даже и произошли перемены в правительстве.

Она портила все задуманные им эффекты. Ничего не могло расшевелить и пробудить эту типичную старорежимную душу: ни его голос, ни его идеи, ни его художественное воображение, ни его вперёд выставленная нога в галифе и высоком, до колен зашнурованном ботинке жёлтой кожи. Сухарь! Мёртвый сухарь!

Услышав категорический отказ от участия Милы в празднике, Оливко уже не мог сдержаться. Да знают ли в этом доме, кто он? Да слышали ли здесь, в этой старорежимной дыре, что произошла всероссийская революция? Понимают ли здесь, что он мог бы и не разговаривать, подписать лишь бумагу – и хлоп! – их Мила уже на платформе! Но он джентльмен, он оставляет государственные дела, он приходит лично – и вот приём! Знает ли она, с к е м говорит?

На эти слова, вставая с кресла, тётя Анна Валериановна ответила медленно: видел его довольно часто в своём доме в качестве приходящего парикмахера, она так и считала его за парикмахера. У ней не было возможности в этом усомниться. Что же касается «девушки для праздника» – почему бы не пригласить для этой роли дочь или сестру одного из арестантов? Тут не было бы театра, а одни только естественные чувства. Лично заинтересованная в освобождении из тюрьмы родственника, та девушка лучше выполнила бы роль, задуманную ей новым правительством. Что же касается букета, то стоит ли тратить на букет, поскольку это ставилось в вину царизму, тратившему иногда на букеты.

Она говорила спокойно, слегка приподняв брови, и в тоне её не слышалось ни страха, ни иронии. Оливко не понимал, что целью её было не дать уйти посетителю в припадке гнева. Она старалась задержать его и охладить, обратившись к его здравому смыслу. Напрасно.

Внешне она была только удивлена, не испугана, когда, вскочив, Оливко грохнул стулом об пол и воскликнул:

– Ах, так вы вот как! Подождите ж!

Он сделал к ней несколько решительных шагов. Она не отступила, спокойно, с удивлением глядя ему в лицо. Оливко постоял несколько мгновений, не зная, что бы ещё сказать или сделать, затем круто повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Из «Услады» он проследовал в тюрьму – проверить, выучил ли Попов речь, составленную для него от имени освобождённых на празднике. Попов ответил урок наизусть, без ошибки. Но ему не давались знаки препинания. Он не обращал на них внимания и делал паузу перед произнесением каждого иностранного слова и глубокий вздох после него.

– Сойдёт! – решил Оливко.

Обрадованный Попов заявил, что имеет к городскому голове и личное «дельце». Вот-вот он выйдет на свободу, и не терпится ему начать работать. Какая же будет ему от начальства должность? Понимая, что на всякое дело предпочтительно иметь специалиста, Попов предлагал себя в чины полиции, какая она там будет у нового режима, а до тех пор – в сборщики налогов или там продуктов каких по деревням, а не то и в городе по надзору за делами коммерческими. Оливко не любил подобных просьб и разговоров и ответил небрежно:

– Ну, об этом потом... как-нибудь... не сейчас же... Придёт время... увидим...

На это Попов вспыхнул непомерно.

– Да? – сказал он угрожающе. – Такие ответы слышали мы раньше, от старого ещё режима.

В немногих словах он дал понять Оливко, что по характеру своему не переносит неопределённых ответов. Он ищет начала практического сотрудничества с новым режимом, «а не то»... и он прищурил один глаз, внимательно рассматривая лицо парикмахера. Видя, что тот напуган в достаточной мере (тут только Оливко сообразил, что он в тюрьме, наедине с уголовным преступником, с убийцей, что сам он безоружен, а собеседник его разгневан).

Попов как бы вскользь заметил, что, возможно, он и ошибся: Оливко не имеет никакой власти в городе... придётся пойти поискать к другим... заодно бы и праздник и речь поручить кому другому... Да и чего тут праздновать! Если работы подходящей нет, кто пойдёт из тюрьмы: тут тебе и помещение, и харчи.

– А что ты нас всполошил – разберёмся. Есть у нас свои специалисты разбирать такие дела... Тюремная братия, знаешь, шуток не любит...

Глядя на грудь и руки Попова, на его мясистые губы, щетинистые, неровно подстриженные усы, Оливко забормотал в ответ, что новый порядок медленно принимает форму.

– Ну, а ты сам ведь на должности уже?

– Ускорить дело возможно, если подходящие сотрудники...

– Ты меня не разочаровывай, я этого не люблю. Мы-то не пропадём! Ну а обид не стерпим.

– Подождите! Дайте же нам, правительству, организовать, – бормотал Оливко.

Попов насмешливо свистнул.

– Т а к ты о народе заботишься: подождите, мол, пока, а я поживу в своё удовольствие.

Подтянув пояс повыше, он наклонился к Оливко и, глядя ему прямо в глаза, сказал предостерегающе и как бы даже жалея:

– Эх, брат-товарищ, человек с твоим характером недолго живёт на свете!

Затем, распрямившись, он сел, хлопнул себя ладонями по коленкам и заговорил дружелюбно:

– Говорю тебе это в предостережение. Беспечный ты человек, не понимаешь, с кем имеешь дело. А то давай лучше кончим по-приятельски. Ты сам-то что тут делаешь? Какая твоя работа? Бери меня в помощники. Ты помни одно: не обижай народные массы. Это, брат-товарищ, ныне особенно будет опасно.

Помолчали.

– При должности высокой всегда полагается казначей. Вот я тут.

– Да... это так, – забормотал Оливко, – но вот беда: денег у нас нет... Касса давно пуста.
– Эх ты, шляпа! – ухмыльнулся Попов. – Денег, говоришь, нет? Это в России-то нет денег?

– У нас в кассе нет...

– Нет, так можно достать.

– Откуда?

– Оттуда, где они есть. Я казначей, м о ё д е л о – найти и взять. Ты должность мне дай и документ-полномочие. Деньги тебе будут. В тюрьме найдутся ребята, кто пойдёт и достанет. Дело чистое, не бойсь, ты ни при чём, у тебя казначей: он берёт, он и отвечает. Понимаешь?

– Ну а всё-таки – где ты их возьмёшь?

– Вот пристал, лист банный. У старого режима возьмём, кто с народа кровь сосал, у тех и возьмём исключительно, по всей, значит, справедливости. Дело будет законное, в явочном революционном порядке. И опять вот: в городе у тебя провизии нету. А деревня на что? Дай мне мандат, сам поеду, со товарищи. Привезём. Мои хлопоты, тебе же от города большая благодарность. Революционные лавки откроешь: всем поровну. Ты на меня полагайся. Мне же дай только документ подходящий, чтоб с подписью и с печатью-сургучом. И всё твоё дело будет сделано.

Оливко начинал верить в Попова, кто так легко и просто мог разрешить затруднения. Работа, ответственность – Попову, слава же ему, Оливко. Сделка чудесная.

– Ещё одна у меня сегодня зацепка с праздником нашим. – И Оливко рассказал об отказе им приглашённой барышни участвовать в торжестве. – Грубо и резко мне отказали.

– Что? – искренне удивился Попов. – Вот тебе и революционная власть, не может справиться с молодой девицей. Давай-ка ты мне адрес, сам завтра схожу. Бегом прибежит та девица.

Получив адрес, Попов был уже на пороге, как услышал громкий вздох облегчения, вырвавшийся из груди Оливко. Он понял смысл этого вздоху, и лицо его затуманилось. Он обиделся.

– Знаешь, товарищ, – сказал он медленно и веско, обернувшись, – одно всегда знай и помни: я люблю, чтоб со мной поступали по всей вежливости. Понял? А то и так бывает иногда – честно говорю наперёд, чтоб потом ты не удивлялся, – так, знаешь, бывает: исчезнет вдруг человек, и нету его нигде, пропал, и никто не знает, куда делся. Понял? А покамест будьте здоровы, товарищ! С революционным приветом! – И, тяжело ступая, он отправился в свою тюрьму.

Так Оливко попал в рабство к Попову.

Глава IV

Между тем в ту же ночь в «Усладе» произошло важное событие: вернулся Димитрий.

В темноте, тайно он пробирался к дому. Он видел запущенный сад, заколоченные двери, закрытые изнутри ставнями окна. Он не узнавал «Услады». Но издали оттуда доносились фуги Баха. Он шёл на эти звуки, и сердце его усиленно билось: тётя жива! возможно, и все они живы!

Совершенно неузнаваемый, в лохмотьях, истощённый, небритый и грязный, ничем уже не напоминавший прежнего Димитрия, он предстал перед Анной Валериановной. Он тихо постучал в окно, и она долго вглядывалась в темноту, не узнавая его. И только когда он заговорил, по голосу она узнала его – это действительно был её племянник. Она впустила его через окно, тихо провела к себе и пошла предупредить мать и сестру о его приходе. И радость и горечь этой встречи между родными были так сильны, что, увидев его и обняв, генеральша потеряла сознание.

Мила принесла таз, кувшин тёплой воды. Став на колени, она сняла с ног брата страшные отрепья каких-то войлочных ботинок и мыла ему ноги. Несмотря на его протесты, она старательно смывала всю грязь, вытирала чистым полотенцем, ссадины и ранки смазывала вазелином, и, так как лицо её было наклонено, слёз её он не мог видеть.

Тётя Анна Валериановна двигалась бесшумно, готовя воду для ванны, чистое бельё, принося пищу.

Они тут же решили скрыть возвращение Димитрия и его присутствие в доме от всех, даже и от прислуги, то есть от Глаши и Мавры Кондратьевны. Жизнь Димитрия была в опасности. Он должен был скрываться. Офицеры организовывали контрреволюционное восстание, и он был одним из участников. Он послан был ими в свой родной город, где ему были известны и люди, и условия жизни, местность, дороги, селения, чтобы подготавливать почву. При настоящем безлюдье в «Усладе», в огромном пустом почти доме, окружённом и садом и парком, за чертой города, скрывать присутствие Димитрия казалось и возможным, и нетрудным.

Хотя комнаты их находились далеко от помещений прислуги, они старались двигаться бесшумно и говорили шёпотом. Решили, что Димитрий будет жить в комнатах тётки. Она давно уже убирала их сама, и никто из прислуги не входил к ней. Всё оказывалось очень удобным. Небольшая узкая дверь из малой гостиной открывалась на узкую лестницу, ведущую в верхний этаж. Там тётя занимала гостиную, кабинет и спальную, с отдельной маленькой гардеробной и ванной. Единственным выходом, кроме этой лестницы, была дверь на высокий балкон под колоннами. Охраняя дверь в малой гостиной, они могли быть уверены, что Димитрий в безопасности. Решено было, что в течение всего дня кто-либо будет сидеть в гостиной: Мила с книгой, генеральша с вязаньем или тётя за пианино. Углы балкона не могли быть видимы снаружи, и там Димитрий мог лежать в лонгшезе на воздухе.

Когда всё было устроено, наступило утро. Переодетый в чистое, напившись кофе, Димитрий готовился отдохнуть. Мать подошла поцеловать его на прощанье и увидела: Димитрий уже не был блондином, голова его была совершенно седой.

Понимание опасности, которой он подвергался, его присутствие в доме, знание, зачем он здесь и зачем, и куда по временам будет отлучаться и что делать, создали настроение постоянного страха и волнения за него. В разговоре Димитрий удивлялся относительному спокойствию и благополучию в городе, тому, что «Услава» не была ещё сожжена дотла, тому, что ещё можно ездить за продуктами в деревни. Всё это, казалось, обещало успех контрреволюционному движению в крае.

Итак, когда на следующее же утро Попов явился в дом Головиных, он застал тётку Анну Валериановну уже не в том настроении, с которым она приняла накануне Оливко.

И, к несчастью, Мила была первой, кто встретил Попова.

Он прошёл по кухне и Мавре велел «доложить»: человек, мол, пришёл, посыльный, по государственному делу.

В гостиной находились Анна Валериановна и Мила. Генеральша была у Дмитрия наверху. При словах «государственное дело» и Мила и тётя вздрогнули и обе побледнели. И всё же Анна Валериановна сказала совершенно спокойно:

– Мила, походи прими посетителя. Я хочу допить кофе.

Ей надо было предупредить о посещении тех, наверху: для Дмитрия было устроено потайное место на случай обыска.

Между тем Попов разглядывал дом. Без приглашения прошёлся по двум комнатам, дальше было заперто, потрогал замки. Он был поражён красотой и величием «Услады». Стоя меж двух белых мраморных колонн, он с сердцем плюнул на паркет:

– Ишь как живут, сволочи!

В эту минуту вошла Мила. Попов сам для себя определил это первое впечатление: он вдруг «смяк сердцем».

Она была бледна до прозрачности. Мысль о брате, сознание, что он в смертельной опасности, что, может быть, именно этот, «государственный человек» и пришёл с вестью о гибели, ужасали её. Казалось, она трепетала всем своим существом, и её глаза, вспыхнув, окинули быстрым испытующим взглядом всего Попова – с головы до ног.

Именно эта прозрачность, этот трепет, этот необыкновенный взгляд поразили Попова. «Голубка! – подумал он. – До чего ж белая!»

Вид Попова разубедил Милу: он не мог быть посланным от «государства». Он походил лишь на рабочего, посланного проверить электричество или водопроводные трубы. В чёрной вязаной жилетке поверх помятой и расстёгнутой синей рубахи, без пальто, без шляпы в руках, он, по её мнению, мог быть только рабочим. По головинской традиции, она приняла его приветливо, поздоровалась, слегка поклонившись, и просила сесть.

– Мы можем и постоять! – произнёс Попов с чувством, не сводя глаз с Милы. – Если в приятной компании...

– Вам придётся подождать немного, – сказала Мила, смущаясь от его пристального взора. – Сейчас придёт тётя поговорить с вами. Она здесь всем заведует.

– В приятной компании мы не прочь подождать и подольше, – ответил Попов и ловко подмигнул Миле левым глазом.

Она отступила на шаг.

«Бойтся, – с удовольствием подумал он, – непривычная». И с тяжёлой игристой спросил:

– Как дела ваши насчёт кавалеров, барышня? С кем гуляете? Как насчёт симпатии к нашей особе?

Видя, как она отпрянула и вдруг побежала из гостиной, он довольно погладил усы: скромная девушка! не вешается мужчине на шею. И он громко свистнул вслед Миле.

Вошла тётя Анна Валериановна и кратко спросила о цели визита. Он прежде всего отрекомендовался как председатель содружества уголовных заключённых местной тюрьмы, подлежащих освобождению, и слова его заставили хозяйку невольно отступить на шаг. Но она тут же поняла, что визит этот не может касаться Дмитрия, и мгновенно приняла свой обычный спокойный и холодный тон.

– Прошу садиться, – сказала она, сама опускаясь в кресло.

Кресло затрещало под Поповым: ишь, чёрт, узко! – и он развязно начал излагать «приказ комитета освобождения»: головинской барышне «явка с букетом» на праздник, чтоб поднести ему лично, как главному лицу в процессии освобождённых.

Слова его, наружность, манеры не оставляли сомнения: это был решительный человек.

С Димитрием, скрывающимся наверху, с пониманием, что значит его участие в создании контрреволюции, главной заботой Головиных стало не привлекать враждебного внимания новой власти к «Усладе». Тёте Анне Валериановне предстояло мирно разрешить вопрос об участии Милы в празднестве тюрьмы.

Попов между тем добавил и личную просьбу: он желал, чтобы Мила произнесла «слово», обращённое к нему самому – главе уголовных и их представителю и председателю.

Анна Валериановна позвонила и просила Глашу прислать в гостиную Милу. Попов приосанился и подкрутил усы. Тётя просила его повторить просьбу Миле. Развалясь, сколько мог, в кресле и почесав голую грудь под рубахой, Попов изложил своё «государственное дело». Мила и тётя обменялись взглядом.

– Хорошо, – сказала Анна Валериановна, – Людмила Петровна может пойти и поднести букет, но совершенно невозможно, чтобы она произносила «слово»: она не привыкла выступать публично.

– Хе-хе! – сказал Попов. – Большое дело! Я вот тоже не умел, да наловчился. Подучить можем барышню! – И он «лихо» взглянул на Милу.

Обе женщины побледнели.

– Я прошу вас сделать нам эту уступку, – сказала Анна Валериановна. – Видите, на первую часть вашей просьбы мы согласились. Этого вполне достаточно, не правда ли? Она явится с букетом и поднесёт, кому будет указано.

– Нам букетец, нам самолично. – И Попов хлопнул себя ладонями по коленям. – Будь по-вашему, освобождаем барышню от «слова».

Видя, с каким удовольствием он принял согласие, с какой зловещей тюремной любезностью он благодарил их, слыша «словечки», никогда не произносившиеся ещё в «Усладе», обе женщины холодели от страха.

Попов объявил, что сам в день торжества приедет за Милой в автомобиле, и не в том тюремном, с решётками, а в открытом, который прежде полагался его благородию, бывшему начальнику тюрьмы.

– И не беспокойтесь, поедem парочкой. С девочкой ничего не случится. Беру на себя охрану. Будьте покойны: имя Клима Попова среди уголовников значит немало. И букет на мой счёт: прикажу собрать герани в чьём-нибудь огороде.

Обе женщины молчали.

Попов продолжал «программу». Привезя Милу, он поставит её на платформу (он называл Анну Валериановну барыней, а Милу – Людмилой, хотя ему и сказано было, что она – Людмила Петровна), сам же должен будет отлучиться, чтоб, сняв штатскую одежду, переодеться в арестантскую, и затем выйти из тюрьмы, возглавляя шествие. «Там дальше речь произнесу для народа, чтоб понимали!» – но будьте покойны: Людмилу он доставит домой опять же самолично и на автомобиле. Желая нравиться, он говорил в том тоне, что почитал барским: с папирсой, висящей из угла рта, прищурив глаза и раскачивая ногу в грязном, когда-то жёлтом полуботинке.

Тётя Анна Валериановна слегка наклонила голову в знак того, что аудиенция кончена, но Попов не понимал, он не думал уходить. Он словно врос в кресло.

– Нравится мне тут у вас! Вроде как чисто всё и благородно. И разговор ваш вежливый, куда ж и сравнить с тюрьмой! Грязь у нас конечно, да и вши. От блохи тоже покоя нету. Ну, днём развлекаемся тоже, больше, конечно, в карты. Вот есть у нас мастера! – И, обратясь к Миле, он спросил, играет ли она в железку.

Мила нашла силы отрицательно кивнуть головой.

Попов не уходил. «Услава» очаровала его. Он заговорил о себе, о том, что судьба его переменилась – спасибо революции! – и ожидается светлое будущее. Обещана ему важная должность. Он говорил о будущем словами и готовыми фразами тюремных ораторов. Он гово-

рил о всеобщем равенстве. Взять его и хоть бы эту барышню вашу, Людмилу, – оба плоды старого режима, теперь же уравнины, и нет никакой разницы, почему бы и не жить в дружбе, в любви и в согласии.

Произнося речь, он вспотел от усилий, заключив:

– Заглядывать буду к вам! Нравится тут мне очень!

Бледная поднялась Анна Валериановна с кресел и, сказав «до свидания!», позвонила Глаше, чтоб проводить гостя.

– Приятно познакомиться, – попрощался Попов и ещё раз бросил взгляд на Милу, тяжёлый взгляд, от головы до ног, и затем улыбнулся довольной улыбкой.

Чтобы не показать своих истинных чувств и своего страха, и она улыбнулась в ответ испуганной улыбкой. Попов остался доволен: он предпочитал скромность и наивность в женщине. Он подбоченился.

– Да вы не бойтесь, барышня! Мы умеем обращаться с дамочками! Опытные!

Наконец он ушёл.

Он оставил «Усладу» в состоянии почти экстаза. «Вот местечко, чёрт возьми!» – и он сплюнул на мраморные ступени. Вынув из кармана брюк клетчатую кепку, он лихо набросил её на голову, козырьком назад. Он чувствовал себя молодым и полным энергии. Перейдя дорогу, остановился, созерцая фасад «Услады» и стараясь угадать, за которым же окном спит «голубка». Затем он пошёл в город, но иной походкой, с раскачкой. Идея Оливко о барышне с букетом, вначале показавшаяся ему глупой, теперь восхищала его. Оливко этот не совсем дурак.

Мысли его были приятны: девочка, отказавшая парикмахеру (Попов считал, что парикмахер – господин), согласилась – и без возражений – на ту же просьбу, когда попросил он. Это уже кое-что да значило, приосанивался Попов. Он не был неопытным юнцом: девочка не говорила с ним сама, за неё говорила тётка. Эта ведьма понимает дело. Парикмахер – что? – хоть и господин, а при нынешней жизни – день, и нет его. А за Поповым – товарищи. Попробуй тронь! Это вот тётка смекнула. И как они слушали, когда он говорил о будущем! И она! Она! Девочка. Голубка. Людмила.

Попов был влюблён.

То, что очаровало его в Миле, была не её красота: эта красота (щупленькая!) не была в его вкусе. Его пленила её покорность, её испуг, её грусть, её скромность, рвущая сердце улыбка. Охотник с ружьём и испуганная им, бегущая от него лань.

Однако он не мыслил ей зла. Другое: он хотел бы на ней жениться. В ней он угадывал женскую верность, женскую преданность. Разбойнику нужна именно преданная жена, до могилы верная подруга. Легкомыслие, ветреность разбойник вообще презирает.

Мысли Попова зашли так далеко – до женитьбы. Человек на всех путях жизни нуждается в преданной супруге, особенно тот человек, что занят опасным делом. Он, Попов, горестно наблюдал падение нравов современной ему женщины. Жениться парню не на ком, честное слово! И вот Мила, наконец, показалась ему подходящей.

Желая думать о Миле, говорить о ней, он направился к Оливко. Там он обрушился на изумлённого парикмахера, упрекая его в недостатке вежливости к женскому полу. Говорил назидательно:

– Ты там был, нагрубил, видно, как последний мужик деревенский. Напугал девочку. Людмила девочка нежная, как ей с тобой на люди показаться? С ней говорить надо вроде как бы вежливо. Умеючи надо... И слов тех, что мы – мужчины – между собою заворачиваем, с ней никак нельзя. Ты не умеешь – не суйся. А я вот умею: согласна Людмила, будет с букетом на празднике. Слышал? И вперёд на дамское или другое какое деликатное дело меня посылай, сам не рыпайся. Напортишь только, дурья твоя голова.

Попов стал серьёзно подумывать о женитьбе: «Годы же мои вполне подходящие: чуть за сорок, в полном соку. И судьба моя вон как переменялась! Пора, пора жениться. Самое, так сказать, время. И девочка-то какая! Мировая девочка! Нежная. Людмила! Голубка!»

Впервые тихие мысли о семейном уюте взманили его (сказывался возраст!). Но главное – до женитьбы поскорей обеспечить. Чтоб уж потом и не покидать голубку: время-то ныне какое! Смута, какой на земле не было. Хитрый мужик, он понимал революцию лучше многих историков её и теоретиков. Равенство? братство? – рассказывай кому другому! Он видел её как катастрофическую перемену, как разруху и – разбойный по духу – приглядывался, где и как удобнее пограбить, пока возможно. «Мировой пожар раздуем!» Дуйте, ребята, раздувайте! Он же, Попов, и поведёт себя как на пожаре: в первые же минуты, в самом начале – красть, а дальше – «мирный я житель, хата с краю, и не видел ничего, и не знаю». С капиталом же при чём тут режим, тот ли, другой ли. При ловкости нашей – устроимся. Его ум работал, и маленькие глазки хитро поблёскивали.

«День освобождения» и для него принимал всё большую важность: он будет как бы представлен народу, и заметьте, головинская дочка подносит букет. Он как бы вступал этим в лучшее общество города: узнают, если где встретят. Кстати, соперников он не боялся: знал события «успокоить», а то и совсем «удалить» мешающего ему досадного человека.

Накануне торжества он объявил Оливко, что завтра утречком пожелует к тому на квартиру, то есть в парикмахерскую, и хоть сам Оливко теперь не работал, Попов требовал его личных услуг: «Сам меня и пострижешь, по-товарищески».

Пока Оливко работал над его головой, надо сказать, без всякого энтузиазма, Попов сидел, зажмуря глаза, сладко мечтая о Миле и о женитьбе. По окончании сеанса, увидев в руках парикмахера бутылку с дешёвым одеколоном, Попов распорядился:

– Ты, брат, не поливай меня отечественною мутью, подай сюда французские духи!

В «Усладе» между тем волновались.

Анна Валериановна велела Миле держать в секрете и посещение Попова, и будущую поездку на торжество.

– Ты знаешь Димитрия. Если он только увидит Попова и узнает, зачем и куда ты едешь, он забудет всякую осторожность и тут же в доме у нас застрелит этого каторжника. Тем более не говори и маме. Я поеду с тобой и не отойду от тебя ни на минуту. Не бойся ничего.

Букет красной герани казался настолько нелепым, что решили заменить его розами.

– Я буду смотреть на розы и о них думать, – сказала Мила, – и ничего, время пройдёт.

Она мужественно прошла через все унижения этого дня: с букетом стояла часы на платформе, рядом с фыркающим в её сторону парикмахером Оливко. Он «принципиально» не поздоровался с Головиными. Тётя Анна Валериановна, в чёрной кружевной косынке, изваянием стояла позади Милы. Полина Смирнова показывала на них пальцем и смеялась громко. Попов, выйдя из тюрьмы, не спускал глаз с Милы. С улыбкой она подала ему букет. И, наконец, втроём они возвращались в «Усладу» в чёрном автомобиле с ещё не стёртой надписью: «городская полиция».

С каким ужасом поняли Мила и тётя, что Попов был г л а в н ы м преступником уголовной тюрьмы. Тётя не выдала себя ничем, но подмечала всё. Попов, выдавший виды и себе на уме, понимал основной смысл её молчания. «Ишь, ведьма! В рот воды набрала!» С другой стороны, ему нравилось: остерегает Людмилу. От эдакой тётки не убежишь в подворотню на фарт, побалагурить с прохожим парнем. Не такое, значит, семейство.

Сам он был счастлив и болтлив. Весь потный, он оттягивал от тела то рубашку, то жилет, поясняя: для воздуха.

– Слышала? – обратился он к Анне Валериановне. – Ну, какую же речь я сказал! Печатное дело! Понравилось небось? – подмигнул он Миле.

– Вы хорошо сказали, – ответила она.

На другой же день после праздника Анна Валериановна написала два одинаковых письма: Оливко и Попову. Она напоминала, с какою готовностью Людмила Петровна Головина выполнила их приглашение принять участие в программе дня, и затем сообщала, что, к сожалению, племянница её слаба здоровьем, что доктор нашёл болезнь лёгких, следствие потрясения после смерти отца, и затем просила не затруднять Милу никакими общественными функциями, хотя бы на время, всего на несколько месяцев, пока она окрепнет.

Анна Валериановна была полна опасений, она не спала ночей и всё это старалась скрыть под маской спокойствия. Но выражение насторожённости стало её «революционным лицом».

Увы! Присутствием на празднике Головины напомнили о себе, попали в фокус революционного зрения. Следующий визит был нанесён Полиной Смирновой. С небольшой группой женщин и с песней она появилась на дороге к «Усладе». Женщины несли плакат с лозунгом: «Мир устал от богатей».

– К нам идут! К нам! – с воплем вскочила Глаша в гостиную.

Размахивая мандатом перед лицом Анны Валериановны, Полина объявила, что они пришли взять рояль. «Вы уже давно наигрались, сударыня!» Клуб рабочих женщин испытывал необходимость в музыке.

Полина предупредила: если откажут дать рояль, то Головиных ожидают такие-то и такие репрессии, после которых рояль всё же возьмут.

И снова, потому что Димитрий скрывался в «Усладе», Анна Валериановна уступила без возражений: пожалуйста, возьмите.

Рояль был тяжёл. Рабочие женщины не могли справиться и решили взять пока пианино. Их в «Усладе» было три. Взяли самое лёгкое. Они выволакивали его из прежней классной комнаты Милы, ударяя о стены, о двери, о колонны, о ступени, и оно отвечало растерянными жалобными звуками на все толчки и удары.

Испуганная Мила предложила клубу и ноты, но Полина фыркнула ей в лицо:

– Это вашего дохлого Баха? У нас есть свои, революционные песни!..

Реквизиция вещей для клубов сделалась главным занятием Полины. На этом поприще она подвизалась с неизменным успехом. Годами работая в самых богатых домах города, она знала точно, кто что имеет, где что содержится, куда прячется, – и отрицать для владельцев не было возможности. Её новая репутация стояла высоко: в два дня она бралась обставить роскошно любое революционное помещение – и без издержек.

«Услава» сделалась её избранным местом для реквизиций. Она появлялась всё чаще, потрясая мандатом, часто подписанным ею самой, и забирала всё что хотела, словно дом Головиных был складом её вещей или фабрикой. С Анной Валериановной она усвоила новый тон – бросая мандат на стол, почти ей в лицо, она говорила кратко:

– Ковры. Занавеси. Серебро. Граммофон. Письменный стол. Тарелки. Вешалку. Зеркало.

Тётя Анна Валериановна отвечала одним словом:

– Возьмите.

До мандата она не дотрагивалась. Когда Полина настаивала на подписи, тётя говорила:

– Попросите Глашу. Возможно, она подпишет.

– Так? – с злобной насмешкой воскликнула Полина. – Что же, обойдётся на сей раз без подписи. Но усвойте, мадам: скоро и в ы с а м и научитесь подписывать.

Слова эти напугали Милу (Димитрий скрывался наверху), и она старалась быть особенно вежливой с Полиной: предлагала ей сесть, просила прочесть список, чтоб помочь найти и вынести вещи, всё что угодно, лишь бы не допустить Полину рыскать самой по дому.

Стараясь отвлечь её внимание от дома, бедная М и – ла занимала Полину разговором. Это были жалкие попытки. Закинув ногу на ногу, в короткой юбке, в полурасстёгнутой кофте, с папиросой (в дни революции Полина научилась курить «народную» махорку), Полина иронически выслушивала Милу, по временам сплёвывая на ковёр: ничего, потом сами почистите!

Не менее ужасны для Головиных были и визиты Попова.

Он не имел привычки приходить, как все, через двери. Он не звонил никогда. Казалось, он проникал в дом через стены. Его появление было внезапно, неожиданно. Он вдруг возник в раме открытого окна и, перемахнув одну ногу в комнату, сидел верхом на подоконнике, подмигивая насмерть испуганной Миле: «Не ожидала?»

Он выглядывал вдруг из-за длинной занавеси в столовой: «Ку-ку!» И когда Мила хваталась за сердце, сообщал: «Наше вам почтение!»

В парке Мила вдруг видела его прячущимся за ствол дерева. Или вдруг он оказывался рядом с ней в саду, на скамье: «Здравствуйте, пожалуйста!» Он протягивал ей свою страшную руку. Рука эта казалась ей нечеловеческой.

Однажды она чуть не наступила на него, найдя его спящим на траве у беседки.

Бедная, бедная Мила! Увидев Попова, и всякий раз испугавшись чрезвычайно, она не убегала, нет, она старалась разговором удержать гостя там, где она его нашла, чтобы он не вздумал рыскать по дому в поисках за нею: в доме скрывался Димитрий.

Между прочим, Попов не мыслил зла: он навещал свою невесту, Людмилу. Он понимал: за барышней, будущей невестой, надо поухаживать, с нею надо «играться».

Страх, испуг Милы он понимал как выражение скромности. Её разговор льстил ему: «интересуется», голубка!

Он взял привычку в её же саду сорвать цветок и поднести ей.

– Пахучий! Вам: от сердца! Не видал таких цветов нигде. Как будет их имя?

– Гелиотроп, – шептала Мила.

Попов издавал протяжный свист: словечко!

Он был – по-своему – внимателен к ней и нежен. Каковы бы ни были его прежние отношения к женщинам, невесту свою, свою Людмилу он хотел завоевать рыцарски, ухаживанием, по всем правилам изящного кавалерского искусства.

Он начал заботиться о своей наружности.

Всякий раз, как он появлялся в «Усладе», было что-либо новое в его наружности или одежде, и он сам обращал внимание Анны Валериановны и Милы на обновку. То это были часы с чьей-то монограммой и золотую цепью, то кольцо с бриллиантом на его пальце.

– Приобрёл. Ну, ободок кольца давал увеличить. Не лезло.

Он им показывал чудесные жемчужные запонки, которые носил в кошельке, завёрнутые в обрывок газетной бумаги; или же он демонстрировал новый фасон усов, бороды или новый причесок на голове, спрашивая мнение Анны Валериановны и Милы, так ли лучше или как прежде было.

Он хотел поразить их, восхитить собою.

Дела его шли хорошо. Да и Оливко не мог жаловаться. «Сотоварищи» Попов уже не раз «наведалься» к Фоме Камкову, и вначале этим в городе никто не возмущался. Затем посетили кое-кого из других. Но этого пока было недостаточно. Попов торопился обеспечить так, чтобы «на всю жизнь».

Раз он попросил у Головиных «дамского» совета: хотел поставить золотые коронки на зубы, для красоты исключительно, так как зубы были у него все целы. Полагая, что женщины понимают красоту больше, чем мужчины, он спрашивал их мнение. Приблизив своё тёмное лицо на вершок расстояния от лица Анны Валериановны, он вдруг распахнул свой рот, полный зубов, словно откинул крышку рояля. Желая избавить Милу от того же испытания, тётя быстро ему посоветовала:

– Поставьте на три нижних передних зуба. Будет красиво.

– Вот спасибо за совет, т ё т е н ь к а! – сказал Попов, в первый раз так называя Анну Валериановну.

Он всё больше верил своему счастью, своей удаче, погружался в оптимизм: на нашей улице и какой же открывается праздник!

Служебная деятельность Попова состояла в налётах на деревни и помещичьи имения для реквизиций по мандатам и попутном грабеже там же для себя. В городе он избегал «действовать». Тут он был «государственным человеком» и просил помнить имя – Клим Аристархович. Он искренне считал себя хорошим человеком. Того, что он считал моральным, он придерживался неуклонно, например товарищеская верность была для него священной. Но убить из-за выгоды человека для него было всё равно что убить для мяса корову или свинью. С другой стороны, убийства «зря» он не оправдывал, называл баловством и не прочь был от себя «дать раза в ухо» убийце.

В «правительстве» города Попов сделался необходимым человеком: единственный источник «государственных» доходов. Город голодал. Деньги потеряли ценность. Жалований платить было нечем.

Поездки Попова по деревням носили официальный характер. Но деревня отказывалась выдать продукты, прятала их, как могла. Деревню нельзя было убедить словом, так надо было «принудить» и заставить. Члены «правительства», начиная с Оливко, избегали дел, где доходило до насилия. В собраниях раздавались голоса протеста, обвинений, негодования. Но есть все хотели, а Попов был всегда наготове. Он ездил со своими товарищами. Они были хорошо вооружены «на случай нападения на них крестьянских банд». Поповские экскурсии были всегда удачны. Его подводы возвращались всегда нагруженными доверху.

После каждой отлучки он стремился первым делом в «Усладу», повидать голубку Людмилу. Каждое его появление было новым испугом и потрясением для Милы. Эта внезапность, этот нож за голенищем, этот револьвер за поясом... Она, вздрогнув, отступала на шаг, задыхаясь, заикаясь, отвечала на его приветствие, но, помня: Димитрий там, наверху, – торопливо приглашала его в сад, на скамеечку, или в гостиной просила сесть вот тут, у окна, шла рядом, провожая его по комнатам, направляя, чтоб не шагнул в сторону, не спросил: а там что у вас за комнаты? Её поведение, первый момент испуга, растерянности, а затем заботливое внимание Попов понимал по-своему: клюёт, клюёт наша рыбочка.

Матери Милы он почти и не видел. Разговор его с Анной Валериановной сводился к одной теме: супружеское счастье, тихая и обеспеченная деньгами семейная жизнь – «вот как тут у вас была». Он порицал распространившийся при революции обычай свободной любви, «без венца», он стоял только за законный брак, «по старинке». Говоря, он покуривал и поплёвывал на паркет, растирая плевков сапогом. С холодеющим сердцем Анна Валериановна ужасалась и свободной любви, и законному браку какой бы то ни было женщины с Поповым. Не раз теперь вспоминала она о Варваре Бублик. Как могла бы Варвара помочь им своим влиянием и защитой! Если б только она была здесь и запретила Попову посещать «Усладу»! Но о Варваре не было слышно.

С Милой Попов говорил всё меньше: сам удивлялся – не находилось таких слов. Он вздыхал, щурил глаза, подмигивал, подсвистывал или щёлкал языком в знак одобрения. Он был счастлив в «Усладе». Он приходил как друг. О верности в дружбе у него были свои, каторжные понятия, и в голову ему не приходило, что в «Усладе» могут его бояться. Их сдержанность он понимал как знак уважения к его личности и выражение почёта к его высокому положению в «правительстве». Он, как и полагается ухажёру, метящему в женихи, начал приносить подарки, и дары эти ужасали бедную Милу.

Грязной рукою из бокового кармана брюк он вынимал горсть карамели: «Шейки раковые»! угощайтесь! Он развёртывал сальную бумажку и предлагал положить кусочек халвы Миле прямо в рот. Он откусывал от яблока, а затем остальное предлагал Миле: доедайте на здоровье! Отшатнувшись, Мила благодарила: «Спасибо, я съем потом». А тётя Анна Валериановна спешила объяснить, что от сладкого у Милы болят зубы.

Втайне он составлял список и более ценных подарков для голубки Людмилы.

«1. Банка помады, запах – резеда. Волосы у голубки ничем не смазаны (взять у парикмахера Оливко).

2. Сардинки, банки три. (Худа очень Людмила, подкормить надо, и чтоб тётка не смела есть: исключительно для голубки.)

3. Отрез на платье. Шёлк. Розовый цвет. К Светлому дню. В тот же день и колечко с бирюзой. А тётке на «Христос воскрес» – подсолнухов», – и так далее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.